

Здравый смысл и история^[1]

(заметки к полемической эпитафии Н.Н. Страхова

«Вздых на гробе Карамзина»)

[1] Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ.

Все, что имеет для нас высокую цену, все истинное, прекрасное, великое, существенное всегда кажется далеким от нас. Мы вечно думаем, что оно скрыто от нас на недоступных высотах и глубинах, что оно существует за дальними морями, во тьме давно минувших времен, или же в особых избранных людях... Между тем... все это доступно каждому, всегда и везде; все это близко к нам.

Н.Н. Страхов. О вечных истинах

Николай Николаевич Страхов - один из самых теоретически «осторожных» исследователей в отечественной философии истории. Специфика его трудов в том, что они содержат не только историософские размышления, но и попытки исторического понимания многих значительных собеседников, для которых он был сердечным читателем, желанным оппонентом и комментатором.

Особенно принято замечать влияние, которое испытывала философия истории Н.Н. Страхова со стороны Н.Я. Данилевского. Можно даже скорее говорить о философской инициативе Н.Я. Данилевского и о взаимовлиянии - активном соучастии в проблеме истории этих двух собеседников, «расходившихся» друг с другом «во множестве вещей»^[1]. Страхов дорожит Данилевским не как *изобретателем* новой концепции философии истории, а как естественно мыслящим философом, предпочитающим *понимать* историю, исходя из собственных предпосылок, естественного «славянофильства» и «славянской терпимости», обдуманного патриотизма, а не из некоторой искусственной теоретической озабоченности новым знанием истории^[2].

Одним из таких угодивших в архивную складку времени^[3] страховских текстов следует признать «Вздых на гробе Карамзина»^[4] - полемически заостренную эпитафию, характеризующуюся «театральностью», нисколько, впрочем, не оскорбительной по отношению к памяти Карамзина, современника повсеместных искусных перевоплощений, театрализации почти всех жизненных практик^[5].

Одна из последних бумаг, написанных рукой самого Карамзина, заканчивается фразой: «Потомству приветствие из гроба!»^[6]. Театральность страховской эпитафии, в свою очередь, многократно подтверждается обстоятельствами ее публикации. Обнародованная «Зарей» в 1870 г., она была написана автором, родившимся через два года после смерти Карамзина (1828 и 1826 гг.), а прочитана российской публикой через четыре года после юбилейных торжеств 1866 г., в котором отмечалось столетие со дня рождения «особого избранного человека». При этом Н.Н. Страхов заслонил свое авторство в этой публикации излюбленным полемическим псевдонимом Н. Косица (парафраз пушкинского «Феофилакт Косичкин», псевдонима, который Пушкин использовал в полемике с Булгариным, - характерно страховский прием самопереименования как отклика и самоумаления!); тем самым уже масочно изобличался прогрессизм А.Н. Пыпина, трактовавшего Карамзина как человека из прошлого. Текст эпитафии последовательно миметичен: пластичный, риторически точно выдержанный стиль Страхова здесь повсюду отзывается на сентименталистскую стилистику Н.М. Карамзина.

Полемический характер этой эпитафии препятствует усмотрению герменевтической «лепты», внесенной здесь Страховым в *историку* - практическую философию истории. Однако без этого усмотрения понимание страховского текста было бы существенно неполным. Редкая способность Страхова к пониманию, замеченная еще Ап. Григорьевым, придает особое достоинство этому его философскому исследованию.

Эта способность, или, как говорил сам Страхов, «*жгучий интерес взаимного ауканья*»^[7] обнаруживается в «эпитафии» прежде всего в риторико-полемическом, изобличении Н.Н. Страховым своего оппонента - Александра Николаевича Пыпина^[8]. Позволю себе пространную цитату.

«В сентябрьской книжке "Вестника Европы" явилась огромная статья г. Пыпина "Очерки общественного движения при Александре I. IV. Карамзин. Записка "О древней и новой России"', <...> в которой подробно и пространно осуждается деятельность Карамзина и доказывается, что она имела самое зловерное влияние на судьбы России.

Карамзин - вреден! Карамзин - зло в нашем развитии, язва в нашей литературе, тормоз в нашем общественном движении! Остановитесь, милостивый государь, на этой мысли, вдумайтесь в нее, взгляните, измерьте всю чудовищность ее смысла, весь ужас, который она в себе заключает. **Если Карамзин вреден, то кто же может быть полезен?** Если труд души и сердца Карамзина были злом и бедствием, то кто же может льстить себя надеждою, что он трудится во благо? Если Карамзин действовал против интересов России, то кто имеет право сказать, что работает для ее пользы? Не господин ли Пыпин? Вижу, очень хорошо вижу, что он так о себе думает, но после того, что случилось с

Карамзиным, не верю, не могу верить, не хочу верить! **Что такое г. Пыпин? Кому и в чем он может служить примером?** Я знать не хочу г. Пыпина! Если человек столь возвышенной души, такого изумительного таланта, как Карамзин, не сумел найти надлежащего пути и всю жизнь с величайшим благодушием и чистой совестью наносил вред своему отечеству, то каких глупостей и мерзостей (разумеется, бессознательных) я не могу ждать от г. Пыпина, который, **может быть, и почтенный человек, но во всяком случае далек от Карамзина как земля от неба?** Если суд г. Пыпина над Карамзиным справедлив, то во сколько раз более жестокого суда должен ожидать от потомства сам г. Пыпин? Не будет ли его статья клеймом позора для его имени? **В невинности души своей г. Пыпин не задает себе этого страшного вопроса; беспечно и самоуверенно он играет в отношении к Карамзину роль беспристрастного потомства; он забывает - несчастный и наивный человек** - что он тоже сидит на скамье подсудимых и что с него взыщется тем строже, чем выше сияет та слава, до венца которой он тянется своею дерзкою рукою!

Карамзин вреден! Но стоит ли после этого жить и писать? **Когда подобный приговор составляет награду писателя столь знаменитого, то как не приходят в отчаяние все писатели?** На что трудиться мне, г. Пыпину и всем? На что писали наши предшественники? На что будут писать наши преемники? Нет, г. Пыпин, тут что-нибудь да не так; нет, **вы чего-нибудь не сообразили, ибо из вашего заключения следовало бы, что вообще вредна литература, или по крайней мере, что русская литература до сих пор была злом для русского народа.** Такая кощунственная мысль, вероятно, нравится г. Пыпину; но берегитесь, смелые и дерзкие люди! Есть граница, за которой смелость свидетельствует только о тупоумии, и дерзость доказывает, что человек не способен ценить и понимать того, о чем судит.

О, моя бедная Россия! О, мое несчастное отечество!.. Часто я спрашивал себя: каким образом возможна у нас история, поэзия, литература? как они могли явиться при столь неблагоприятных условиях? **казалось бы, русская жизнь должна порождать одних Пыпиных, а между тем у нас есть Карамзин!..** О, я понимаю то великое озлобление, которое царствует в известных кружках против каждого светлого явления в нашем умственном и литературном развитии! Я понимаю, что каждое такое явление **эти люди должны считать незаконным, неестественным, противоречащим их заветнейшему убеждению!** И когда я подумаю о том, что это убеждение столь разительно опровергается фактами, что мы *имеем литературу при таких условиях, при которых, по-видимому, никакая литература невозможна*, то я начинаю радоваться, начинаю смеяться над нелепыми рассуждениями наших новейших историков, начинаю думать, что **история есть дело таинственное и трудно постижимое**, укрепляюсь все больше и больше в той утешительной мысли, что **жизнь немножко глубже, чем как понимает ее г. Пыпин**» [здесь и ниже в цитатах выделено полужирным мною. - П.О.]

Доказательность приведенного рассуждения в сугубо логическом отношении весьма сомнительна. Здесь, как и повсюду в эпитафии, Страхов не принимает в расчет возможные формально-доказательные стратегии полемики, как, впрочем, далек он и от какой-либо герменевтической «спиритуалистики». Эпитафическое рассуждение имеет в своем основании дилемму *здравого смысла и истории* - то, как эта дилемма предстает в *историке* Н.М. Карамзина и как она должна быть *герменевтически, в виду оппонента, «наивного душою»*, представлена и уточнена. «История есть дело таинственное и трудно постижимое» - для тех, кто умозрительно поверхностен по отношению к жизни; если история - не живой и жизненный Карамзин, с его «трудом души и сердца», а только некое отвлеченное познавательное поприще, безличная территория исторических истин, то возможно и отвлеченное от реальной жизни - в сторону личного «тупоумия»! - будто бы отважное и дерзкое, абстрактно естественное, умозрительно привлекательное и очевидно «нелепое», «смешное» рассуждение о Карамзине - «кощунственное» историческое понимание. Такое безличное, далекое от здравого смысла и опасное в своих основаниях мнимое понимание истории, по Страхову, должно быть не только разоблачительно олицетворено, но и трезво-прозаически выяснено. Поэтому вернемся к тексту и поставим вопрос: «Каким образом возможно самое появление Карамзина?»

«Если мы послушаем наших новейших историков, то должны будем сказать, что это был какой-то урод или сумасшедший, а отнюдь не произведение исторических обстоятельств того времени. Представьте себе картину тогдашней России так, как ее изображают нынешние наши историки, столь беспристрастные и проницательные. Всюду - зло и мерзость; помещики - изверги, крестьяне - стада диких животных; господство грубой силы, разврата, азиатского абсолютизма. И вдруг является Карамзин. "Все условия жизни, - говорит г. Пыпин, - условия, создавшиеся целыми десятками и сотнями лет, делали невозможную добродетель". Кажется, ясно? И однако же - вдруг является человек добродетельный. Является человек, кроткий как голубь, нежный и чувствительный, стыдливый как девица. Я радуюсь, а г. Пыпин негодует и недоумевает. Я преклоняюсь перед таинственною глубиною жизни, готовящей обновление русской литературы; г. Пыпин возмущается и злобно издевается. По его мнению, законными, уместными, правильными явлениями тогдашнего времени были какие-нибудь злодеи, разбойники, Пугачевы; Карамзин же с его голубиною нежностью ему кажется явным уродом, родившимся для того, чтобы задержать исторический ход нашего развития.

<...> из своего воспитания Карамзин вышел самим собою. Я радуюсь, а г. Пыпин сердится и удивляется.

Но вот Карамзин едет путешествовать. При тогдашних обстоятельствах какая это была огромная опасность! С его идеями, с его увлечением французскою литературою, с пламенной любовью к человечеству - что будет делать Карамзин, попавши во Францию?.. Юный **Карамзин** посмотрел на события революции с такой точки зрения, что они не покорили вполне его души. Карамзин, как уверяет г. Пыпин, вовсе не понял этих великих событий. И Карамзин возвращается. Карамзин спешит домой. Какое благополучие. **Я радуюсь всей душою, а г. Пыпин негодует.** Г. Пыпин думает, что в этом случае Карамзин был глуп; **я мог бы, однако же, доказать, что глупость не на стороне Карамзина, что смысл французской революции, о которой теперь так свободно рассуждает г. Пыпин, был величайшею неожиданностью не только для человека чужого, а и для самой Франции.** "Кто мог думать, ожидать, предвидеть?" - писал впоследствии Карамзин, - и это было не риторическою фразою, как, вероятно, полагает г. Пыпин, а чистою правдою...

О, неразумные историки! О, славные толкователи прошедшего! Как же вы не видите, что совершалось в душе Карамзина и что помешало ему сочувствовать революции? Карамзин думал о своем образовании, Карамзин в ту самую пору, о которой идет речь, *преобразовывал наш слог* своими письмами, Карамзин уже мечтал о своей истории! А главное, существенное, непобедимое препятствие состояло в том, что Карамзин всей душою был в России, не покидал ее мыслью ни на минуту, весь жил воспоминаниями своей родины, своего детства, своих друзей. Что же дивного, что он смотрел на революцию невнимательно, видел вещи в розовом свете, и лишь впоследствии понял истинный смысл виденного?»

Карамзин появляется не в аспекте некоторого будущего пыпинского понимания, но осмысленно, «классически»^[9] присутствуя в исторично понимаемой им жизни; *решительное благоразумие* Карамзина, как условие плодотворности этого присутствия, Страхов предельно максимизирует в контрастивной, герменевтически расходящейся стилистике изложения - стиле акафиста, преобразованного ради прославления *само собою* понятного, славного своей нравственно-исторической адекватностью Карамзина; с другой стороны - ради разоблачения мнимостей беспристрастного исторического понимания А.Н. Пыпина («Радуйся»: «Я радуюсь, а г. Пыпин негодует и недоумевает», «Я радуюсь, а г. Пыпин сердится и удивляется», «Я радуюсь всей душою, а г. Пыпин негодует»). Пыпинское «недоумение» являет, как видно, некий побочный результат доверия Пыпина к иной ипостаси здравого смысла - *sensus communis logicus*, понуждающего доверять «историческому ходу нашего развития», которому должен соответствовать Карамзин^[10]. Это «доверие» абстрактным обстоятельствам понятое как негативная редукция исторического понимания, является своего рода «схематическим идеализмом», который с точностью до наоборот, напрасно подозревали у самого Страхова. Н.Н. Страхов, как

видно, легко соглашается с возможностью умаления Карамзина («что же дивного, что он смотрел на революцию невнимательно, видел вещи в розовом свете наследия») - но не столько с точки зрения *sensus communis logicus*, сколько настаивая на том целостном здравом смысле, который проясняет значение «историчного» Карамзина с «вековечной» точки зрения^[11].

Вот как это делает Страхов, продолжая полемизировать с Пыпиным:

«...Какое право имеет г. Пыпин поступать здесь так, как он и везде поступает по отношению к Карамзину, а именно - истолковывать все его слова и действия в дурную сторону? Разве Карамзин подал к этому хотя малейший повод? Если бы мне сказали, что г. Пыпин сделал глупость или подлость, то и тогда я не считал бы себя правым, злорадно поверивши первому слуху. Во сколько же раз виноватее г. Пыпин, постоянно подкладываящий под слова и действия Карамзина побуждения подлые и низкие? Г. Пыпин обходится с Карамзиным так, как я никогда не решусь обойтись даже с г. Пыпиным. <...>

Г. Пыпин уверяет нас, как мы видели, что Карамзин был *льстецом* по отношению к верховной власти; что же касается до народа, то, по словам г. Пыпина, Карамзин смотрел на него "с брезгливостью помещика, считавшего, что крестьяне принадлежат к другой породе"; Карамзин будто бы любил и одобрял "торговлю людьми, как собаками"; у Карамзина "парни женились и девки выходили замуж по барскому приказанию"; словом, он был заражен "самым дюжинным крепостничеством" и его чувства в этом отношении "границили с *совершенным бессердечием*".

<...> На чем основывает свои выводы г. Пыпин? Единственно и исключительно на том, что Карамзин не желал отмены крепостного права. **Какое нелогическое заключение!**

Крепостное право есть вздор в сравнении с вечностью - таково мое мнение, утвержденное во мне долгими размышлениями. Но **благородство души человеческой** не есть вздор ни в каком случае, ни в каком сравнении. Что Карамзин был помещик и заблуждался - это еще небольшое горе, если бы мы узнали; но истинное было бы горе, если бы мы узнали, что он был действительно человек бессердечный. По счастью, его нравственный характер есть незабываемая истина, и свет этой истины нам озаряет дело гораздо яснее, чем вся ученость г. Пыпина...

Г. Пыпин, по невероятной сухости своей природы, по неистовому ослеплению, порожденному сею сухостию, принял за жестокость Карамзина то, что было действием нежнейшей попечительности этого доброго помещика. Судите сами.

В селе Макателеме жил некогда молодой крестьянин Роман Осипов. Русые кудри вились на голове его, и серые глаза его блистали лукавством и смышленностью. Он воспылал

страстию к дочери бывшего поверенного, Архипа Игнатьева, и собирался на ней жениться. Но крестьяне того села, озлобленные на юного любовника по причинам, о которых за отдаленностью времени мы, к сожалению, ничего не знаем, не только не хотели допустить сего брака, но и вознамерились отдать злополучного Романа в солдаты. Счастью любящихся сердец никогда бы не совершиться, если бы не доведаль о том благодетельный помещик Макателема. И вот он пишет своему бурмистру Николаю Иванову и всему миру повеление: "приказываю вам непременно женить Романа на дочери Архиповой и *не отдавать его в рекруты*. 28 ноября 1820".

Так я понимаю эту историю; так она несомненно следует из документов, напечатанных у Погодина. Приказ Карамзина, очевидно, имеет в виду благо Романа Осипова и кроме сей великодушной цели никакой иной иметь не может. В том же приказе за повелением об Романе Осипове следует повеление оставить в покое крестьян Миная Иванова, Акима Федорова и Федора Михайлова, коих невежественные обитатели Макателема обвиняли в порче, в том, что они будто бы делали женщин кликушами. "Это бабьи сказки и совершенный вздор", - пишет просвещенный Карамзин. <...> И так далее, и так далее.

Спрашивается, до какой степени должно доходить помрачение разума и оскудение сердец, чтобы без всякой причины истолковать в дурную сторону один из многих приказов, которые все сплошь показывают, что **Карамзин своею властью боролся с жестоким миром села Макателема и защищал гонимых крестьян от тяжких приговоров мирского общества?**

Вот она - новейшая историческая критика! Вот она - новая, более высокая точка зрения, которою похваляется г. Пыпин в начале своей статьи! Эти новые воззрения ведут лишь к тому, что **прогрессивный историк перестает понимать нежные движения сердца, прекраснейшие стороны человеческой души, что он смотрит в книгу, а видит фигу, что он... умолкает от негодования и горести».**

Неверным будет предположить здесь и в каких-либо других частях эпитафии Страхова необдуманную, «бессознательную» несдержанность, внезапный эмотивизм. Страхов нигде не бранчив; напротив - мастерски адекватен жанру. Н.Я. Грот метафорически описывает исследовательскую проницательность Н.Н. Страхова, его этико-герменевтическую исследовательскую позицию как «светлый рационализм»^[12]. Большинство биографов, современников Н.Н. Страхова, тесно увязывает рационалистические установки страховской герменевтики с идеалистической перспективой, с гегелевской установкой диалектического понимания абсолютного, которую Страхов, насколько это для него возможно, воспроизводит и соблюдает. Однако

текст эпитафии свидетельствует только о страховской готовности отозваться на *близость* абсолютного, как это дает себя знать в случае с Н.М. Карамзиным. Всегда чуждый какому бы то ни было конструктивизму, Страхов предпочитает описывать базовые презумпции исторического понимания Карамзина как «вековечно» близкое свое. «Идеалист» скорее Пыпин, судящий Карамзина с «более высокой точки зрения».

Из текста эпитафии следует также, что страховское, герменевтическое по своей сути, прочтение исторических предпосылок Карамзина не может быть сведено к жестким схематизациям. Он спорит с пыпинским «исторически тенденциозным» пониманием жизненных презумпций Карамзина, отстаивая то, чем сам всегда так дорожил - ответственное отношение к стилю как способу существования личности автора в тексте. Герменевтическая связь здравого смысла и истории, по Страхову, предполагает не только гуманизацию исследовательских установок, но и то, в чем они находят свое воплощение - речевых стратегий исторического письма:

«Кому случилось в жизни написать хоть одну страницу, достойную имени литературного произведения, тот знает, что, создавая эту страницу, он клал свою душу на бумагу, изливал на бумагу свое сердце; иначе ничего бы не вышло, или вышло бы нечто такое, что обличило бы лишь кривляющуюся пустоту и напрягающуюся глупость писавшего. Повторяю - слог есть выражение души писателя. Карамзин преобразовал русскую литературу своею душою».

В риторически весьма оживленном тексте эпитафии трудно заметить, насколько непретенциозен Н.Н. Страхов в своей верности здравому смыслу - мимоходом, оговорочно перемежая свои высказывания кенотическими репликами:

«Г. Пыпин обходится с Карамзиным так, **как я никогда не решусь обойтись** даже с г. Пыпиным».

«Не знаю, насколько позволительно и полезно желать, чтобы не было того, что уже было; в этом вопросе есть **глубина, смущающая мою философию**».

«Неохотно и не без некоторого смущения касаюсь я предметов этого рода. Далекий от дел государственных, нередко **я втайне благословляю свою смиренную долю**, когда помыслию, в какое великое затруднение привели бы меня задачи, с коими другие обращаются легко, отважно, не задумываясь».

«Что скажем в заключение? Заговорим ли об "Истории государства Российского"? **Но величие предмета изумляет меня и внушает мне дерзость безмолвия**».

Если не знать Страхова и судить его только по представленной полемической эпитафии, нелегко понять как бы сами собою разумеющиеся заметки В.В. Розанова о «тонком Страхове» или Страхове-«шептуне»[13]; здесь-то Н.Н. Страхов как раз счел должным «сказать *в лицо*» - исполнил то обязательство говорить откровенно, которое предполагал эпитафический жанр, - вплоть до вполне кенотического предположения о том, как принята будет эта откровенность:

«Ну, что значит мое письмо? Г. Пыпин может считать его за шутку от первой строчки до последней. Мы все шутим, у нас все шутки! Статьи г. Пыпина, на мой взгляд, тоже чистейшие шутки. Даже целый "Вестник Европы" есть ничто иное, как огромная шутка, ежегодно издаваемая в двенадцати толстых томах, - шутка над русскою литературою, над русскою историею, над памятью Карамзина, имени которого посвящен сей журнал. Мы резвимся и играем - кто как умеет, кто во что горазд, кто в европейскую цивилизацию, кто в русскую народность! А жизнь и история между тем идут своим чередом, и ни цивилизация, ни народность нас знать не хочет».

За пределами эпитафии этот кенотически-предположительный момент будет усилен и преобразован в письме Н.Н. Страхова Л.Н. Толстому: «Что же я сделал? Я стал смеяться над ними, стал вступаться за логику, <...> за историю, за философию. Шутки мои едва ли многим были понятны и только покрыли мое имя позором»[14]. Афористичный В.В. Розанов в мимолетной записи 1915 г., спустя почти двадцать лет после смерти Страхова, отчетливо припоминает то, что было известно всем, сколько-нибудь близко его знавшим: «Страхова не подкупишь»[15].

То, что Страхов «говорит в лицо» А.Н. Пыпину, не совсем обычно для самого Страхова, но вполне допускаемо жанром и тогдашним разночинным «этическим регламентом» полемик. Кто не говорит откровенно, в стиле «неистового Виссариона» в середине XIX в., в послениколаевские времена? Таковы и бывшие петрашевцы (в т.ч. Н.Я. Данилевский), и ровесник Страхова Н.Г. Чернышевский, и П.Л. Лавров, М.А. Антонович, Д.И. Писарев и др.; не стал исключением и А.Н. Пыпин, так поразивший Страхова - не столько своей неакадемической несдержанностью, сколько своим недомыслием, стремлением последовательно отстаивать не мысль, и не здравый смысл, а социально-политическую ангажированность мышления[16]. Сам Н.Н. Страхов, соблюдая этико-риторическую адекватность времени, в котором он поневоле исследует Карамзина, остается «одним из трезвых между угорелыми»[17], сохраняет «подчеркнуто трезвый взгляд на вещи»[18] - неподкупную приверженность к «вековечной» точке зрения, которую, он, как это для него свойственно, находит не в исключительно своем, а исподволь - у Карамзина.

«Что было бы с нами, если бы нашу историю до сих пор писали только наши мудрецы, мудрецы нынешние или мудрецы тогдашнего времени? Не могу помыслить без ужаса. Что было бы, если бы русскую историю написал Сперанский, который думал, как о том упоминает г. Пыпин, что на наше прошедшее можно взглянуть *совсем иначе*? Сперанский не изъяснил своей мысли подробнее, но мы можем хорошо ее угадывать. От Сперанского до г. Пыпина немало было людей, которые смотрели на русскую историю *совсем иначе* и пытались *совсем иначе* писать ее. Мы знаем, каким отвратительным слогом эти люди писали и пишут; для нас не тайна, отчего у них действительно все выходило *совсем иначе*, чем у Карамзина, а правильнее сказать до сих пор ровно ничего не выходит.

<...> Нужен был ум, бесконечно ясный и чуткий, чтобы понять, что **точка зрения нравственная и художественная, то есть *вековечная* точка зрения**, одна могла быть твердою опорою для создания нашей истории, что всякая иная точка зрения неминуемо увлекла бы историка во взгляды ложные и поверхностные».

Не являясь ни герменевтикой безличной субъективности, ни односторонне-эпистемологическим развитием идеи «зрительного пункта» Лейбница и Хладениуса, цельная «вековечная» точка зрения историка, по Страхову, имеет иную - гуманистическую - укорененность:

«Но что я говорю? Столь высоких даров не нужно было, или правильнее - нужно было сверх этих даров нечто большее, - нужна была **простота и чистота младенца, посрамляющая, как мы знаем, мудрость мудрых и разум разумных!**

<...> Он [Карамзин. - *П.О.*] сам иногда задумывался, дивился самому себе. Найти прямой путь было столь же трудно, говорит он, как найти философский камень; но его несравненное сердце указало ему этот путь безошибочно! **"La religion de mon coeur m'a fait presque trouver la pierre philosophale"** (Моя сердечная вера позволила мне чуть ли не найти философский камень - из письма к жене...))»

Отстаивая гуманистический здравый смысл, Страхов, судя по всему, предпочитает обойтись без принимаемой безоговорочно А.Н. Пыпиным идеи «исторического прогресса»; никак не предпочитает время в качестве меры истории. В чистой событийности человеческой жизни нет истории, но нет ее и в историческом исследовании, имеющем в себе «набросок» (М. Хайдеггер) чистой историчности. «Вздыхая на гробе Карамзина», Страхов не устает повторять, что «история есть дело таинственное»; но это не тайна, раскрытие которой требует научной отрешенности от исторически реального.

Это светлое таинство, некая очевидность, недоступная только «засмысленному» уму (М.М. Пришвин), и вполне открытая тому, кто силится, подобно Карамзину, соблюдать *фактичность* истории в единстве реального и мыслимого, в нравственно обдуманном, свободном и ясном слове - единственно доступном месте встречи с минувшим, которое всегда гуманистично, всегда олицетворено.

«Когда я представляю себе Карамзина, возвратившегося из путешествия, когда вообразу себе этого удивительного юношу, в котором тогда воплотилась наша литература, я не нахожу меры своему восхищению. Это было зрелище очаровательное, ослепляющее; это было чудо едва постижимое. Вот человек, который посетил чужие края - и однако же любит свою родину прежнюю пламенной любовью; он беседовал с первыми умами Европы - и однако же умственные интересы Москвы имеют для него ту же кровную драгоценность; он украшен всею глубиною и тонкостью тогдашнего образования, и однако же он вполне русский, русский до мозга костей. Какова сила, каково притяжение русской жизни! **Какая способность взять у Запада много, очень много - и не отдать ему ничего заветного!** Душа моя наполняется умилением...».

Позднее, незавершенное исследование проблемы времени Н.Н. Страхов успевает подвести к пониманию «живой вечности» («волнующемуся океану вечности»), не тождественной ни «вечности созерцательной», ни «вечности мыслительной», которые «суть два различные представления» [19]. Со сходной точностью и последовательностью начнет рассуждать о времени в эпоху Н.Н. Страхова, пожалуй, только Ш. Ренувье в своей «аналитической философии истории», но доведет разговор только до абстрактной этико-персоналистической постановки проблемы, того, о чем Страхов замечает только как о наиболее «удобном» субъективном представлении о времени. Проблема темпоральности исторического исследования не является парадигмально разрешенной и в современной исторической эпистемологии, и в исторической герменевтике. «После Страхова» она только различным образом поставлена, описана или предварительно обсуждена. В своем предпонимании этой проблемы Н.Н. Страхов - актуальный, «заслуженный» собеседник Х.-Г. фон Вригта, Х.-Г. Гадамера, М.М. Бахтина или Л.В. Пумпянского; мыслитель, который был бы, надо полагать, интересен М. Серто, П. Рикеру, Д. Карру, Х. Уайту, Фр. Анкерсмиту и многим другим.

[1] См.: *Скатов Н. Н.Н. Страхов (1828-1896)* // http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0060.shtml.

[2] См.: *Страхов Н.Н. О книге Н.Я. Данилевского «Россия и Европа»* // <http://gumilevica.kulichki.net/DNY/dny18.htm>; *Страхов Н.Н. Наша культура и всемирное единство* // <http://gumilevica.kulichki.net/DNY/dny18.htm>; *Страхов Н.Н. Последний ответ г. Вл. Соловьеву* // <http://gumilevica.kulichki.net/DNY/dny18.htm>. Ср.: *Султанов К.В. Социальная философия Н.Я. Данилевского: конфликт интерпретаций.* СПб., 2001.

[3] Даже Ю.М. Лотман и Н.Я. Эйдельман, внесшие наибольший вклад в современную отечественную карамзинистику, не упоминают об этой работе. Ю.М. Лотман упускает ее из виду даже тогда, когда предпринимает попытку «п о н я т ь позицию Карамзина» в связи с тем же карамзинским сочинением и возражая тому же оппоненту, что и Н.Н. Страхов. См.: *Лотман Ю.М. «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина - памятник русской публицистики начала XIX века* // *Лотман Ю.М. Избранные статьи.* В 3 т. Т. II. Таллинн, 1992. С. 194-205.

[4] Цит. по: *Страхов Н.Н. Вздох на гробе Карамзина* // *Карамзин: pro et contra / сост., вступ. ст. Л.А. Сапченко.* СПб., 2006 // http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0030.shtml.

[5] См.: *Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века. Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия* // *Лотман Ю.М. Избранные статьи.* В 3 т. Т. I. Таллинн, 1992. С. 269-295.

[6] См.: *Лотман Ю.М. Колумб русской истории* // *Лотман Ю.М. Избранные статьи.* В 3 т. Т. II. Таллинн, 1992. С. 227.

[7] Переписка Л. Н. Толстого с Н.Н. Страховым. СПб., 1914. С. 305. - В отечественном философском сообществе широко известно о том особом достоинстве, которое придает эта способность переводам Страхова с немецкого (в т.ч. фундаментальной «Истории философии» Куно Фишера).

[8] Александр Николаевич Пыпин (1833-1904) - филолог, переводчик, академик Петербургской Академии наук (1898), вице-президент АН (1904). Наиболее известен как автор «Истории русской литературы», «Истории русской этнографии», «Истории славянских литератур» (совместно с В.Д. Спасовичем). К моменту появления «эпитафии» Страхова Пыпин был весьма известным ученым и публицистом. - Ю.М. Лотман рассматривает разоблачительную позицию А.Н. Пыпина в юбилейных карамзинских дискуссиях 1866 г. как нехарактерную для него: «обычно академически объективный, Пыпин излагает воззрения Карамзина с... очевидной тенденциозностью». См.: *Лотман Ю.М. Колумб русской истории* // *Лотман Ю.М. Избранные статьи.* В 3 т. Т. II. Таллинн, 1992. С. 195. В 1900 г., при третьем издании своих «Исторических очерков общественного

движения при Александре I», А.Н. Пыпин сумел включить в публикацию бывшую предметом «герменевтической схватки» с Н.Н. Страховым и никогда не жалуемую цензурой работу Н.М. Карамзина, в качестве приложения.

[9] См. реплику Л.В. Пумпянского в отношении Г.Р. Державина, чтимого Н.Н. Страховым наряду с Н.Н. Карамзиным и М.В. Ломоносовым («светила и образцы»): «...как и Пушкин, Державин был поэтом центральных, руководящих идей; классики сектантами не бывают, они на службе всей страны, а не мартинистов и не декабристов» (*Пумпянский Л.В. К истории русского классицизма // Пумпянский Л.В. Классическая традиция: собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 106*).

[10] Этот *sensus communis logicus*, сугубо эпистемологический план здравого смысла, надо полагать, хорошо известный Страхову из его немецких философских штудий, есть некая односторонность мышления: «нет никакой возможности отличить *мыслимое* бытие от бытия *действительного*» (Страхов Н.Н. Философские очерки. СПб., 1895. С. 32). Ср.: *Грот Н.Я. Памяти Н.Н. Страхова. К характеристике его философского мирозерцания. М., 1896*. Но доверие к целостному здравому смыслу, осмысливаемое посредством этого центона - страховское.

[11] Это понимание, довольно близкое шотландской школе здравого смысла, Страховым осмысливается без теоретических или практико-религиозных обособлений, именно герменевтически. Х.-Г. Гадамер отличает подобный здравый смысл от «просветительского» (вплоть до кантовского различения *sensus communis logicus* и *sensus communis aestheticus*), называя его одним из «ведущих гуманистических понятий», или «гуманистическим здравым смыслом» (См.: *Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 61-72 и сл. Ср.: Шестакова М.А. Функции здравого смысла в герменевтике Гадамера // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1999. № 4. С. 90-100*).

[12] *Грот Н.Я. Памяти Н.Н.Страхова. К характеристике его философского мирозерцания. М., 1896*.

[13] *Розанов В.В. Мимолетное. М., 1994. С. 42, 94*.

[14] Переписка Л. Н. Толстого с Н.Н. Страховым. СПб., 1914. С. 447.

[15] *Розанов В.В. Мимолетное. М., 1994. С. 276*.

[16] Стиль этот сохранился и в наши дни. Можно даже сказать, что именно сегодня он переживает своеобразный ренессанс...

[17] *Грот Н.Я.* Памяти Н.Н.Страхова. К характеристике его философского миросозерцания. М., 1896. С. 8.

[18] *Скатов Н. Н.Н.* Страхов (1828-1896) // http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0060.shtml.

[19] *Страхов Н.Н.* О времени // *Страхов Н.Н.* Философские очерки. Киев, 1906.